



Вячеслав ЧИЛИКИН

Личности

СВИДЕТЕЛИ XX ВЕК

Крылья, возносящиеся над землей

Мы все больше отстраняемся от природы. Слово баррикадуем от нее каменным многоэтажным городом, бесконечными лавинами гудящих автомобилей, забивших дороги до непролаза. Подумать только - в одну каменную громадину вместились бы целая улица старого Барнаула - от Оби до Пивоварки, а то и две. Конечно, удобно: ни печи топить, ни воду таскать ведрами с далекой колонки. Зато был при старом домишке садик, был огородик, был двор, которому ты - хозяин. Так устроена жизнь: что-то приобретаешь, мы что-то теряем.

Вспоминаю, как вспоминают молодость, те тихие муравчатые улочки с лопушистыми репьями по малым овражкам, с березками, словно обнимающими уютные домики скворешен. Ту чуткую обволакивающую тишину, в которой не то чудятся, не то слышатся таинственные ночные шорохи. И чувствую, как теплеют глаза. Ушедшего навсего всегда жаль.

И все же, как ни теснит человек природу, никуда он от нее не уйдет. Потому что он - кровный ее сын и их связь нерасторжима.

Думаю об этом и мне приходят на память два имени: Виктора Ивановича Верещагина и Николая Александровича Камбалова. Оба они жили, кажется, одной жизнью с природой. Поэтому и ставлю их рядом, хотя сделанное ими мерится разной шкалой.

Верещагин был моим близким соседом. Знать бы, что он - мировая известность среди ботаников и энтомологов, пригляделся бы к нему повнимательнее, но я знал только, что он - школьный учитель. Помнятся строгие пристальные глаза и словно вопрошающий взгляд. Под таким взглядом нетвердые в науке школяры робко поеживались.

Вот теперь и стараюсь высмотреть хоть что-то о нем в глубинах памяти, затянутых временем, как тенетами. Прижмуриваюсь и вижу зимний вечер, луну, желтым пятном проступающую в зазеленелом окне, керосиновую лампу с закопченным стеклом, от которой тени по стенам - словно привидения. За семейным столом с самоваром, связкой баранок и рафинадом в вазочке разговор о соседе. Оказывается, он тяжело болен, и врачи отменили все надежды: рак. Поражаемся - смерть сидит в человеке, высох, как щепка, а рассуждает, куда отправится путешествовать летом.

Должно быть, врачи ошиблись, но мне хочется думать, что природа, к которой он тянулся с такой жадностью, воспротивилась его смерти. К лету он был на ногах.

Так издавна у него повелось: отвел школьный год, он отправлялся в пещие путешествия по степям, лугам, перелескам, в бездресные странствия - с сачком, рюкзаком и тощим кошельком ради наблюдения, изучения и вживания в природу, часто неласковую, иной раз бездушную, и все же льнушую к сердцу. Представляю себе эти странствия. Но что значит вся путевая маета и усталость дальних верст в сравнении с открывающимся миром, который мы мимоездом разучились замечать? А Верещагин замечал до мельчайших подробностей. Просто поразительно, сколько надо видеть и знать, чтобы в море трав и пестром карнавале бабочек над ними усмотреть виды, неизвестные науке! А он усмотрел шесть видов трав и два вида бабочек.

Камбалов не делал открытий. Но не счастье тех, кому он передал частицу своего чувства к природе. А его книги "Природа и природные богатства Алтайского края" и "По интересным местам Алтайского края" открывают перед нами удивительный мир, в котором мы живем. И если на труды Камбалова ссылаются такое солидное издание, как четырехтомник "История Сибири", то это что-то да значит.

Высмотренные острым и многознающим глазом Верещагина неизвестные доселе науке виды бабочек ученые мира так и называли бабочками Верещагина. Справедливо и то, что его именем названа улица Барнаула. А вот улочка, на которой почти всю жизнь прожил Камбалов, почему-то называется Ярославской. Уж не в честь ли того самого Емельяна Ярославского, который породил союз воинствующих безбожников?

Камбалов был для меня Николаем, Колей и Колькой. Мы вместе учились в нагорной семилетке, сидели за одной партой и иной раз проказничали: нажмем кусочек бумаги и щелчком пальца пошлем в голую, шишковатую, круглую, как глобус, голову учителя немецкого языка Минералова. А он особенно не сердился.

Потрет ладонью свой "глобус" и только скажет почему-то сконфуженно: "Ну, зачем же, ребятки".

Теперь мне его жаль. Потому особенно, что его, преподавателя когдатощего духовного училища, доброго и безобидного старичка, прибрали к рукам так называемые органы, очень суровые. Вот уж действительно - ну, зачем?

Учились мы так себе. Но и учили нас так себе: прочили в фабзауч. В почете тогда было не образование, а мозолистые пролетарские руки. "Мы в недрах наших мастерских куем, строгаем, рубим", - пели мы хором.

Но Камбалову, как и мне, не очень хотелось в те недра. У нас были свои увлечения и задумки.

Когда-то я заметил в его учебной сумке из мешковины толстую в клетчатом переплете тетрадь - их называли общими. Он никогда ее не вынимал, но как-то мне удалось в нее заглянуть. Перелистал и свистнул удивленно: в отличие от обычных тетрадей она от начала и до конца была исписана аккуратно, и все о птицах. Это были выписки из разных книг, и тут же - старательно скопированные рисунки, и даже анатомические. Коля смутился и покраснел, будто застигнутый на чем-то постыдном. Меня любопытство раздирало:

- Зачем это тебе?

- А так...

Он не хотел, чтобы в классе узнали о его тайне.

Потом разоткровенничался со мной, и я просветился, что есть такая наука - орнитология, и есть большой ученый Брем, написавший шесть больших томов о жизни животных, и Мензбир, написавший два толстых тома о птицах России.

возле ряда вечно орущих граммофонов. Расстелет по земле мешковину, разложит свой товар и, спокойно покуривая, ждет охотников до книги давних лет. А таких находилось немало.

У меня и сейчас хранится книжка о кинематографе, изданная в начале века, которую приобрел у того букиниста. С трогательным чувством смотрю кадры тех маленьких наивных кинолент и ставлю себя на место зрителя первого кино. Завидую им - они изумлялись, а нас уже ничто не изумляет. Неужели и впрямь приелась новизна и утрачено драгоценное чувство нового, приводившее в трепет тех, для кого первый телефон, первая электролампа, первые радиозвуки были чудом?

А Камбалов тот букинист так и не смог раздобыть мензбирских птиц России.

Иногда мы ходили в лес. Знаменитый Барнаульский ленточный бор подступал к самой школе, охватывая ее полукольцом. А пройдешь каких-нибудь полверсты - и вот она, настоящая лесная глушь, безлюдье, с дремотным звоном сосен и птичьей разногласицей. Но это для меня только была слитная разногласица, а Камбалов, казалось, понимал каждый звук. Вот он наклонил ухо и остерегающе поднял палец:

- Слышишь? Это мухоловка кричит, отвлекает кого-то от гнезда. А это синица, а это поползень. Видел поползень? За ба в н ы й .

Прицепится к стволу и лезет вверх задом наперед.

В весеннем лесном гвалте он различал каждую птицу. Меня всегда удивляло, как близко подпускали они его к себе, разве только на плечо не сажались. Как будто чувствовали своего. В шутку думалось: ему бы крылья - был бы верховодом в птичьем царстве.

Он сокрушался о снегире, пойманном в клетку проказливой мальчишкой, и понастроил бы сколько мог птичьих кормушек на лютую зиму, только самого-то его кто бы прокормил?

Был голодный тридцатый год. Школьная сторожиха и уборщица с четырьмя детьми - Николай был старшим - перебралась из своего домика в полуподвал школы, в сумрачную комнатенку с узкими оконцами под потолком. В ней всегда пахло чем-то не то горелым, не то съестным. Это хитрая на выдумки сторожиха пекла, чтобы обмануть голод, постряпушки из желудевого кофе, проще ска-

зать, из молотых желудей. Свиным такой корм, может, был бы и впрок, но человеку... Не знаю, не пробовал.

Наш седьмой класс (тогда классы назывались группами) оказался жертвой одной из реформ, которыми было богато то время, нынешнему под стать. Занятия зачем-то скомкали, и выпустили лицом, недоучив. Вышедшие из детей и не дошедшие до взрослости, мы оказались лицом к лицу с жизнью, которой не знали. Каждого захватила своя судьба, забросила кого куда, а одного занесла в свирепую банду. Судили ее в переполненном зале. Главарям дали вышку, а моего соклассника Сережку закатали на несколько лет. Погрубевший, с тупым жестким лицом и какими-то ледяными глазами он, мне кажется, так и не сошел с треклятой дорожки тюремного завсегдатая.

А Камбалов метался по жизни, и эти его метания были как острый зигзаг. Да кому он нужен, мальчишка-мечтатель, непризнанный орнитолог и зоолог, не умеющий ничего! Как ни стучался в двери учреждений - пустой звук. Он даже в аптеку постучался - высмеяли: тоже нам, фармацевт!

Ума не приложу, как занесло его на радиокурсы, а оттуда - на радиоузел станции Тайга, что неподалеку от Томска. Он же - ни с когтями на столб, ни проводку смонтировать. Не дано ему это. Потому долго там и не задержался, вернулся с сумкой радиодеталей и порадовал меня этим подарком.

Новый острый зигзаг - и Камбалов на учительской стезе. В войну врачи отстранили его от армии, а наробрат отправил в далекий Андреевский район, давно уже отошедший к Новосибирску. Храню его весточки оттуда. Диву даюсь - ему даже химию пришлось вести, а химик он я знаю какой: вместе на курсах подготовки в вузы набивали шишки о твердыни этой науки и невесело подтрунивали над собой, вызывая к преподавателю: "Ох, товарищ Рыбаков, научи нас, дураков".

Еще зигзаг - и Камбалов в лаборантах на станции защиты растений. Здесь-то и разглядел его понимающе сын доброй памяти доктора Велижанина. Кажется, он и свел его с краевым музеем, для которого сделал много хорошего его отец.

Это был последний зигзаг. Заведующий отделом природы Николай Александрович Камбалов наконец-то нашел свое место в жизни. Много лет водил он экскурсии по залам музея, этой миниатюры Алтая, многим открывал глаза на красоты и шедроты окружающего нас мира. Это была впечатляющая школа для ума и души.

Он ушел из жизни ранним утром ранней осени, когда природа исподволь начинала готовиться к зимнему сну. Внезапно, словно вспугнутая птица, отлетела его душа.

Но вот передо мной его книги, а в памяти мягкий и зоркий взгляд светло-голубых глаз, видящих то, что не дано видеть нам. И хочется верить, что не ушел он, а слился с живой природой, и это ему по весне в благодарности за преданную любовь поют-заливаются на все голоса птицы России.

